

ДМ. ХОЛЕНДРО

297056



В Крыму

Из записок
ВОЕННОГО
КОРРЕСПОНДЕНТА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„КРАСНЫЙ КРЫМ“
1945г.

Редактор А. Зотиев.

НФ 12114. Заказ № 3233. Тираж 5000 экз. Объем 7,25 печ. л.
5 авторск. листов. Подписано к печати 31 октября 1945 г.
Типография изд-ва „Красный Крым“, г. Симферополь, ул. Кирова

V.N. Karazin Kharkiv National University



8

00331724

- 1) 9 (c) "1941-1945"
2) 9 (168)
3) 32B355.4 "1943/1944"
4) 32B355.4 "1943"
5) 355.111 "1941-

28/17

Дм. Холендро

В КРЫМУ

(Из записок военного корреспондента)

64
Центральна Наукова
Бібліотека при ХДУ
Інв. № 297056

ПРОБЕРНО
ЦНБ 1945

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНЫЙ КРЫМ“

59
1945

Обложка и рисунки художника З. АВАГИМОВА.

... Во имя жизни.—Родине обет
Сражаться на смерть дали мы, солдаты.

А. СУРКОВ.

Десант



Десант в Крым—так приказал Сталин.

На таманском берегу в темную, холодную ночь на 1 ноября 1943 года заговорила артиллерия. Корабли с войсками гвардии генерал-лейтенанта Мельника форсировали пролив...

В день 26 годовщины Октября—радостное сообщение Советского информбюро:

„На-днях войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией провели успешную десантную операцию с высадкой войск на восточном берегу Керченского полуострова в районах северо-восточнее и южнее города Керчь. Северо-восточнее города Керчь наши войска, сломив сопротивление противника, овладели сильно укрепленными опорными пунктами Осовина, Маяк, Жуковка, Опасная, Крепость Еникале, Баксы, Капканы, создав в этом районе плацдарм шириною по фронту 10 километров и в глубину 6 километров“...

Здравствуй, Крым!

Я вижу родной Севастополь

Это строчка из песни...

Среди прибрежных холмов, изъеденных ветром, я торопливо шел на позицию батареи старшего лейтенанта Исаюка. Ветер нес с моря соленые запахи и пронизывающий холод волн, которые глухо бились о берег Тамани.

Волны были тяжелые, как свинец. Снежно-белые барашки, взбитые ветром, беспомощно трепетали на их гребнях. Таким я увидел море ранним утром 1 ноября 1943 года, после ночи, начавшей страницу борьбы за освобождение Крыма.

Если бы волны могли рассказать, что делается на том берегу, который узкой полоской чернел за проливом!

Крымский берег то казался зыбким и исчезал в тумане, то вдруг солнечные пятна падали на него сквозь облака и вырывали песчаную кромку и белые домики рыбацкого поселка Эльтиген. Он был уже занят десантниками.

С тяжелыми ударами волн сливались раскаты грома. Это артиллерийские батареи, поддерживающие десант, били через пролив.

Вдруг выстрелы прозвучали рядом. Длинные, как хоботы, черные стволы орудий поднимались над глыбами валунов. Артиллеристы хорошо укрыли свои пушки. Орудия вздрагивали, стволы их, откатываясь, выбрасывали снаряды. За нами взвивались и таяли дымки, жарким ветром обдавало лицо, и привкус гари держался над батареей.

Блиндаж Исаюка был вырыт в кургане.

Много ночей командир готовился к залпам, а всю прошлую ночь батарея поддерживала высадку. Командир не спал, на моложавое его лицо легли заметные черты усталости, морская фуражка была сдвинута на затылок.

Исаюк рассказал, что его орудия уничтожили немецкую батарею и тяжелый танк.

— Да, да!—оживился он.—Один танк... Мы уже держим связь с Крымом, с батальоном Клинковского. У нас там надежный корректировщик. Он жив, рация работает.

Позднее на Керченском полуострове я встретился с этим корректировщиком—старшиной 1 статьи Виктором Ткаченко. Тогда, при посадке, прыгая в воду, на которой метались лучи немецких прожекторов, он снял бушлат и остался в одной тельняшке. В бушлат он завернул свою рацию, чтобы не замочить, и пробрался к берегу под пулями, в дикой пляске осколков, бережно прижимая рацию к груди, как ребенка.

Рация работала... Батарея вела огонь. Исаюк вышел из блиндажа, чтобы хоть немного подышать морским ветром. Он снял фуражку. „Как я устал,—говорили его глаза,—но если бы вы знали, сколько я могу еще не спать, у меня и мысли нет о том, чтобы лечь отдохнуть“.

В эти минуты к нам и донеслись сквозь гул моря и канонады заветные строчки песни:

„Я вижу родной Севастополь,
На рейде стоят корабли...“

Пел рослый моряк с баяном в руках, присев у орудия на край окопа. Баян звучал задумчиво и чисто, и песне было тесно в его мехах, как в груди было тесно тоске по любимому городу. Высоко над нами плыли облака. Унесите эту песню к Севастополю, скажите ему: мы идем!

...Я вспомнил невысокого человека средних лет в ватнике, распаханном ветром,—майора Клинковского, командира батальона десантников. Ночью он стоял на причале.

Бойцы батальона были уже в мотоботах, которые показывались на воде, у причала. Прилаживали автоматы на груди. Разговаривали вполголоса, просили подвинуться. Первый раз эти бойцы шли в десант. Каждый знал, что от него потребуется подвиг. И в обычном, негромком говорке этих простых людей чувствовалась их большая сила, их уверенность в себе.

Крепили пушки на мотоботах.

Как ждал этой ночи майор Клинковский! Почти два года назад он оборонял от немцев Севастополь. Тогда он защищал последний клочок свободной земли в Крыму. Теперь он шел в Крым, чтобы освободить от немцев первый клочок земли и с него пробиться к городу-герою.

— Ну, вот,—сказал Клинковский, прощаясь.—Пожелайте удачи. Чтобы в Севастополе встретиться. Обязательно! И чарку выпить по этому поводу...

Над причалом раздавались приглушенные свистки и команды морских начальников. Клинковский прыгнул в мотобот. Боец подал майору каску. Какой-то моряк говорил в темноте:

— У меня, хлопцы, все будет в полном порядке. Вроде, как в танковых частях. На этом боте, как-нибудь, иду в десант третий раз. Он у меня везучий. На „Малую землю“ ходил, а потом через Цемесскую бухту в самый Новороссийск...

— Стариков, Стариков, смотри, не сглазы! — крикнули из темноты.

Моряк не успел ответить. А может быть, ответ потонул в шуме моторов, которые вспенили винтами воду.

...Теперь десантный батальон майора Клинковского дрался в Крыму, на кромке берега у Эльтигена. С ним и держал связь командир батареи старший лейтенант Исаюк. Восемьсот метров земли было за спиной батальона до моря.

Бойцы Клинковского отразили четыре немецких контратаки. Клинковский часто рассказывал бойцам, как дрались севастопольцы. Он показал это, когда немцы пошли на батальон в пятый раз.

Немецкие танки прорвались на позицию десантников. Танки наваливались на окопы, утюжили их, проходили над головами бойцов, и комья обожженной земли сыпались из-под гусениц. Но бойцы поднимались, бросали под танки гранаты и не подпускали к себе немецкую пехоту, крича ей, ползучей, серозеленой:

— Гады, идите, гады!

Вновь рвались гранаты, и руки бойцов обшаривали пояс и дно траншей—нет ли еще гранат.

Кончились гранаты. Пролив за спиной—темные волны до самой Тамани.

— Тамань! Тамань! Я — Клинковский. Прошу огня!—не умолкает рация, словно бьется в ней живой голос.

Первый день боя. А кажется, что он идет уже давно, давно. Второй день, третий...

Немецкие танки „утюжат“ позиции батальона Клинковского.

— Тамань! Тамань!—зовет рация.—Я—Клинковский. Прошу огня. По квадрату 139. Огня!.. 139.

Почему вдруг бледным стал Исаюк? Рация зовет: „Я—Клинковский“.

Квадрат 139. Это огонь на себя. Не будет встречи в Севастополе... И медлить нельзя. Едва-едва понизились жерла орудий. Сейчас они вздрогнут, прокатится гром, снаряды ударят по тем метрам земли, где остался с горсткой бойцов герой Клинковский.

Немцы отрезали батальон. Соседи не могли пробиться к нему на помощь. Они держали свои участки.

А в ушах звучит песня:

„Я вижу родной Севастополь,
На рейде стоят корабли...“

Орудия ударили. Показалось, что на этот раз удар был, как назло, сильнее, чем всегда. Все услышали гул разрывов—это снаряды разорвались ближе, на берегу, у самого моря.

Немцы контратаковали десантников. Они хотели во что бы то ни стало взять назад прибрежную кромку, сбросить десантников в море. Но гремели орудия: „Не взять! Не сбросить!“

На помощь десанникам летели штурмовики...

Корабли возвращались к причалам Тамани. Моряки наперебой рассказывали, как высаживался десант. Хвалили ночные бомбардировщики—неуловимые, добродушно-ворчливые самолеты, хрупкие, но бесстрашные. Они снижались к немецким прожекторам, сбрасывали на них бомбы и, потушив, исчезали во мраке.

Пришел мотобот Старикова. Теперь можно было разглядеть лицо неунывающего морячка со вздернутым носом, даже в ноябре облепленном веснушками. Стариков удачно высадил десант третий раз и, хотя промок и продрог, не уходил с причала, отвечая на вопросы.

Некоторых кораблей не было. Одни подорвались на минах, другие затонули, поврежденные немцами. Не пришел к пирсу Тамани баркас старшины Мяздрикова.

Где он? Он лежал у берега Эльтигена, подняв над водой разбитый в щепы нос. А матросы во главе с Мяздриковым сражались на берегу. Это Мяздрик крикнул, когда увидел, что немцы бросили в контратаку свою портовую команду:

— Братишки! Шваль с немецких корыт идет на нас. Встретим, как полагается!

И встретили.

Разве могли немцы сбросить таких назад? Нет. Не могли.

Волны рассказывали, как дрались десантники. Волны рассказывали. К берегу Тамани прибило тело связного офицера. В его документах нашли донесение: „Пляцдарм захватили и прочно удерживаем. Ждем пополнения“.

Ночью новые корабли с новыми отрядами пошли в Крым. Молчала рация в батальоне Клинковского, но работали другие рации. Они сообщали:

— Пятнадцатая контратака отбита. Спасибо артиллеристам за помощь. Взяты две сопки на левом фланге.

— Кто взял?

— Майор Клинковский!

Так узнали, что он был жив. Я представил его—живого, закопченного, но с веселыми огоньками в глазах, ведущего в атаку своих бойцов—майора Клинковского, Героя Советского Союза...

...Восемьсот метров, тысяча двести шагов было за спиной батальона—могучая опора для людей, готовых умереть за каждый шаг. Выше к небу подняли свои жерла орудия батареи Исаюка. Немцы не прошли—десант продвигался.

— А ну, где баянист, пусть сыграет заветную песню!

„Я вижу родной Севастополь,
На рейде стоят корабли...“

Галинка



Сейчас хотелось бы, чтобы ее портрет висел на стене красивого зала, чтобы люди подходили к нему и внимательно вглядывались в милые черты девичьего лица, в задумчивые глаза, затаившие горячую мечту о большой жизни.

Какую подпись сделать под портретом Героя Советского Союза главстаршины Галины Петровой — нежной девушки в черном морском берете, красиво уложенном на простой прическе, в аккуратной гимнастерке с погонями?

Ее нет, Галинки. И под портретом можно написать: „Эта девушка погибла за счастье Крыма“.

Она высадилась на крымский берег с одним из первых десантных отрядов. Она была одета в морской бушлат, и в последние минуты перед тем, как тендер унес десантников, она проверяла, все ли на месте в ее санитарной сумке, перекинутой через плечо.

Кто знает, о чем думала она тогда. Быть может, вспоминала родной Николаев. Быть может, думала и о том, что уже не сбыться мечтам. Она шла в десант, навстречу смерти. Шла в десант добровольно.

Галинка присела на кончик скамьи на носу тендера, вздохнула и улыбнулась, словно хотела сказать: „Ну, у меня все готово“. Кто-то заметил:

— Ты бы, Галя, поближе к корме.

— Ничего.

Уже в том, что она шла в десант, был подвиг. И о чем бы она ни думала в ту ночь, все мысли ее были обращены к тебе, Родина.

О Галинке в печати было сказано мало. Утром 4 ноября из разбитого Эльтигена в Тамань вернулся фотокорреспондент Николай Ксенофонтов. Он привез снимок Галинки—автомат на груди, застенчивая улыбка на ее лице.

В газете были напечатаны этот снимок и короткая заметка под простым, но самым верным заголовком: „Дочь Родины“.

...Галинка высадилась в самый разгар боя на крымский берег. Неистовые и беспощадные лучи немецких прожекторов, как и других, ослепляли девушку. Как и другие, она прижималась к земле, обдаваемой брызгами с моря и вздрагивающей, стонущей под ударами снарядов и градом осколков. Беспрерывно свистели пули над головой.

Снопы прожекторных лучей и мерцающие ракеты освещали пути колючей проволоки. Наши снаряды тушили прожекторы, но сейчас же вспыхивали другие и разрезали мрак.

И вдруг среди колючих пут немецкого проволочного забора раздался взрыв, и к небу, к гаснущим звездам ракет, взвился столб дыма.

— Мины!—крикнул кто-то.

Итти нельзя.

А как ждать, как медлить в тридцати метрах от берега?

Настала секунда, когда люди на войне подчиняются воле бесстрашия. Ее должен проявить хотя бы один человек, и этим человеком оказалась Галинка.

Она не была храбрее всех, приросших сейчас к земле,—моряков, которые ходили на штурм Новороссийска, и пехотинцев, не раз коловших штыками немцев. У Галинки просто мелькнула мысль: подняться и бежать вперед, тогда другим не будут казаться опасными огонь и мины среди колючих пут.

И Галинка встала, кинулась вперед. В нескольких местах проволочка была разбросана разрывами наших снарядов и корчилась, обвивая столбы. Галинка добежала до проволоки, не оборачиваясь. В проходе она ударила ногой о землю и первый раз оглянулась и крикнула:

— Товарищи, сюда! Мин нет!

Поднялся моряк, тяжело дыша:

— Ребятки, вперед!

Грянула цепь:

— Даешь!

Прожектор осветил Галинку. Луч застыл. Но она уже ничего не боялась. Остановить бы ее—ведь мины были вокруг.

Но ничто сейчас не останавливало бойцов.

Бежала с ними и Галинка. И здесь смерть миновала ее.

...Главстаршина Галина Петрова была санитаркой. В ту же ночь в разных местах ее видели то выносившей бойцов в укрытия, то заботливо бинтующей их раны.

Она находила ласковые слова, которые может найти лишь Девушка. Она склонялась к раненым, одной теплотой своего дыхания возвращая им жизнь. Неужели это она, хрупкая девушка с тонкими бровями, изогнутыми, как крылья ласточки, первой бросилась туда, где было минное поле, где в дисках мин притаилась смерть?..

...Шли тяжелые боевые дни. Что было дальше с Галинкой? Я не мог узнать об этом до тех пор, пока не встретил на Керченском полуострове артиллерийского корректировщика Ткаченко. Он рассказал:

— Дни и ночи работала Галя,—она была единственной санитаркой в батальоне. От бессонницы глаза ее воспалились... Первый раз, наверное, прилегла она отдохнуть, и такой случай! Осколком снаряда она была ранена. Тяжело. Отнесли мы ее в медсанбат, а оттуда она уже не вернулась.

В последний миг, пока еще жизнь теплилась в ней, она оглядела товарищей и прошептала:

— Я все сделала, что могла...

Из Москвы славной николаевской девушке прислали орден Ленина и „Золотую Звезду“. А ее уже не было. Под маленьким холмиком в Эльтигене покоится наша Галинка...

...Я знаю: у портрета Героя Советского Союза главстаршины Галины Петровой будут задерживаться подолгу. Будут подводить к нему девочек и говорить им:

— Мечтайте вырасти такими, как она.

Бойцы капитана Мирошника

В покосившихся домиках Тамани разместился госпиталь. Сюда привозили раненых с Керченского полуострова.

Дорога к причалам перебегала через железнодорожный путь под отвесную стену скалы. Первого ноября весь день на дороге стояли машины с красными крестами на дверцах. Ждали раненых. Но только две машины за день ушли к госпиталю. С легкими ранениями возвращаться из Крыма никто не хотел.

Над домиками беспрерывно гудели моторы штурмовиков. Как птицы, падая с крыла на крыло, они пронеслись над Таманью, возвращаясь к аэродромам. В облаках курсом на Крым шли новые эскадрильи.

А в комнатах домиков было тихо. Раненые рассказывали о том, что успели увидеть на крымском берегу.

Никто не говорил о себе. И капитан, который лежал на носилках, в полумраке, у самой стенки, сказал мне:

— Да что о себе... Вот если хотите, о некоторых бойцах я вам расскажу. Даже непременно нужно о них написать.

Я узнал его фамилию: капитан Мирошник. У него было мужественное лицо украинца с высоким лбом и хмурыми бровями. Видно, сильное сердце капитана перебороло уже тяжелую рану на руке, плотно обвязанной окровавленными бинтами.

В этом тесном таманском домике я записал рассказ капитана Мирошника о его бойцах...

Они высадились в Эльтиген. Тяжело достался первый клочок земли, опутанный колючей проволокой, изрытый траншеями, между которыми разбросаны горбы дзотов с амбразурами, глядящими в море.

Наконец, немецкие дзоты на берегу опустели. Их гарнизоны бежали или были истреблены. Бойцы окопались и заняли немецкие траншеи, выбросив из них трупы в грязно-зеленых френчах.

Бойцы знали, что немцы пойдут в контратаку. И каждый до рассвета приготовился встретить врага. Рассвет наступил незаметно. Розовая кромка окаймила небо над морем.

— Если пойдут, то пускай идут скорее,—говорил сержант Гасанов, горячий горец.—Ничего хуже нет, чем ждать.

— Не торопись,—ответил кто-то.—На войне говорят: всегда успеешь туда, где стреляют...

Но немцы не заставили ждать долго. Они пошли. Впереди медленно ползли танки, низкобрюхие, как железные пауки. Они шли, стреляя на-ходу.

Гасанов не стерпел. Он пополз навстречу танкам с ловкостью охотника за опасным зверем, сжимая в руке гранату.

Удачный бросок: гравата разорвалась под гусеницей головного танка. Он, громыхая, отвернул в сторону и замер. Но башня его повернулась к Гасанову, и в темной щели брони вспыхнули злобные огоньки. Две пули обожгли плечо Гасанова. Он даже не вскрикнул, не пополз назад, а с яростной злобой стиснул зубы и начал карабкаться на бугор—навстречу второму танку. Все следили за ним, поднимаясь над окопами выше и выше, чтобы видеть героя.

Бронбойщики открыли огонь по танкам. Бой закипал.

Гасанов впивался руками в землю. Не было сил ползти дальше. Сержант выждал, когда танк поровнялся с ним, тогда он метнул гранату. Танк остановился, задымил.

...Бойцов уже не было в окопах. Их поднял подвиг Гасанова, их подняла команда. Они пошли на врага, и завязался рукопашный бой, а немецкие танки и артиллерия оказались бессильными. Если они стреляли, то поражали и своих солдат.

...Сержант Цховреба ворвался в немецкий окоп. Он сразил трех немцев из автомата, четвертый вырос перед ним неожиданно, когда в диске автомата не осталось ни одного патрона. Цховреба ударил гитлеровца лопаткой, и тот рухнул замертво.

...Разные характеры у людей—по-разному они дрались. Красноармеец Немериченко—осанистый, неторопливый украинец из числа тех, которые прежде, чем ответить на вопрос, почешут подбородок и подумают. К таким с доверием привязываются молодые бойцы. На этот раз еще на боте к Немериченко подсел молодой боец Черноглазов.

— Операция предстоит серьезная,—вслух рассуждал Немериченко.—А корабель-то не даже большой для такого дела... Море беспокойное.

— Насчет кораблей рассуждать, надо же иметь об этом представление!—вмешался моряк.—С этих кораблей в десант высаживаться лучше нет.

— Ну-ну,—сказал Немериченко.

— Что ну-ну! Это же мотоботы, которые в Новороссийске прошли проверку!

— Так это я и говорю, ясное дело,—согласился добродушно Немериченко и подумал, что действительно без проверки на таких кораблях в десант бы не послали.—Корабль маленький—цель неприметная. Оно и лучше...

Вместе с Черноглазовым он высадился на берег и побежал к дому. Там суетились немцы. Кто-то, ругаясь, пытался зажечь свет. Бесполезно чиркала зажигалка. Немериченко бросил в окно гранату и сказал Черноглазову:

— Еще одну подай-ка там.

Черноглазов протянул гранату.

— Запал встал!

Черноглазов кивнул головой. Из окна по тьме хлынули пули. В домике глухо простучал немецкий автомат. Но Немериченко расчетливо пригнулся и бросил в окно вторую гранату.

Только один немец выскочил на порог и тут же упал, словно спотыкнулся: Черноглазов срезал его короткой очередью.

— Автомат-то поставь на одиночную, патроны надо беречь,—наставительно сказал Немериченко...

Вскоре бойцы сидели на дне глубокой немецкой траншеи.

— Эх, табачок-то совсем отсырел!

— Кто просмотрел, у того и отсырел,—пошутил Немериченко.—Я гадаю, что курец ты плохой, если у тебя в десанте для табаку не нашлось сухого места.

Он вынул из вещевого мешка тугой кисет, завернутый в плащпалатку, свернул „козью ножку“ и задымил.

— У кого тоска настоящая, угощайся.

К кисету потянулся добрый десяток рук...

Не успели бойцы докурить,—кто-то сообщил: „Танки!“

— Быстрее,—крикнул Немериченко.—Вон в том блиндаже зажигалки немецкие... Пошукай!

„Зажигалками“ он называл немецкие термитные гранаты, похожие на большие лимоны. Черноглазов принес две „зажигалки“. Немериченко взял их, уложил возле себя поудобнее и стал ждать.

Один танк подошел совсем близко. Немериченко швырнул гранату под его гусеницы и крикнул:

— А теперь зажигалку!

Тяжелый „лимон“ цокнулся о броню, рассыпав по ней веселые синие огоньки, будто танк облили горящим спиртом. Скоро танк превратился в факел...

В пекле боя от сопки к сопке кочевали со своими длинными ружьями бронебойщики, все чуть грузноватые и чем-то неуловимым похожие друг на друга. Один из них обладал чудесной фамилией—Счастливый.

Немцы бросили на десантников три тяжелых танка. Казалось, бронебойщики не смогут бороться с ними. Но Счастливый меткими пулями заклинил башни всем трем танкам, и они не в силах были повернуть своих башен ни вправо, ни влево.

— Мать честная!—не выдержал кто-то.—Да ведь верно, что ты счастливый!

— Это не он,—ответил другой боец,—а мы, пожалуй, счастливые, что он с нами оказался!

Люди дрались по-разному. В одной цепи они дополняли друг друга орлиной отвагой и неторопливым расчетом.

— И все—большие мастера бить немцев,—закончил капитан Мирошник рассказ о своих бойцах.

Была поздняя ночь в Тамани, когда я вышел из домика, где лежал капитан Мирошник. Вскоре я нашел его имя в Указе Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза за форсирование Керченского пролива.

— Как же это так,—подумал я,—почему ни слова не сказал он тогда о себе?

А надо ли? Ведь он был в том бою командиром, он руководил десанниками, о которых рассказывал.

Высота Тарасенко

В октябре 1944 года на горе Митридат в Керчи открылся памятник героям-десантникам Отдельной Приморской Армии и Азовской военной флотилии. Издали с моря виден огромный обелиск, увенчанный орденом Славы и надписью, высеченной на камне: „Бессмертным героям—Советская Родина“.

Стоит этот памятник на древней горе, как маяк свободного Крыма.

Сюда, на Митридат, после жестокой борьбы пробившись десантники из Эльтигена во главе со своим талантливым командиром, Героем Советского Союза, полковником Гладковым. 36 дней с необычайной стойкостью эльтигенцы сражались на огненной клочке земли. Они приковали к себе внимание и отчаянные усилия немцев.

Героизму десантников Эльтигена были во многом обязаны своим успехом отряды, ударившие по немцам севернее Керчи.

Сюда ночью 3 ноября высадились гвардейские полки. Десантные отряды разгромили немецкую оборону и сомкнулись, освободив поселки Глейку, Маяк, Жуковку и рыбачью пристань Опасную.

Я получил разрешение переправиться на Керченский полуостров.

Наш „У-2“ поднялся в воздух с импровизированной площадки близ таманской станицы. Вот исчезли с глаз ее белые домики, беспорядочно разбросанные среди поля. Показались снежно-пенные буруны лиманов.



Мы пролетели над тяжелыми батареями, стреляющими через пролив. Под крыльями самолета проплыла коса Чушка, которая с воздуха похожа на огромное дерево, упавшее в море. Отростки ее протянулись в море, как ветви, и их захлестывает прибой. Коса Чушка была трамплином для десантных отрядов, множество причалов прилепилось к ней.

Где мы сядем в Крыму? Летчик смотрит по сторонам. Ветер, ледяной, хлесткий, затрудняет дыхание. Мотор „У—2“ выбивается из сил. Крымский берег наплывает на нас.

Самолет послушно теряет скорость. Мы идем на посадку. Кажется, что „У—2“, простуженно кашляя, падает в воду. У самого берега он касается колесами земли и торопливо бежит по ней.

Нас встречает дежурный по „аэродрому“, низенький лейтенант в меховой куртке. Встречает довольно странным образом. На руке лейтенанта—спасательный круг. Свободной рукою он машет в сторону моря и кричит что-то такое, чего нельзя разобрать из-за шума мотора. Летчик не глушит мотора: „аэродром“ виден немцам и обстреливается их артиллерией.

Дежурный занимает мое место в кабине. „У—2“ сразу делает резкий поворот и затем летит над морем, низко прижавшись к волнам.

Только тогда мы увидели на соседней высоте факел: горел истребитель, сбитый „Мессершмиттом“. Может быть, этот истребитель баражировал над проливом, прикрывая переправу и наш „У—2“. Теперь мирная машина везла спасательный круг летчику, который прыгнул с парашютом в воду и черной точкой покачивался на волнах.

Летчика-истребителя спасли.

Трудную и необычную жизнь вели десантники на клочке земли, ласково прозванном впоследствии „крымским пятчком“. В пехотных цепях стояли тяжелые пушки. Когда море бушевало, суда „малого флота“ не могли пробиться через пролив, чтобы доставить десанникам продовольствие и боеприпасы. Тогда, надрываясь и не страшась опасности, работали „У—2“.

Они садились у самой воды, касаясь колесами желтой кромки песка и прячась за высотой. С другой стороны ее был первый причал на Керченском полуострове.

Какую же огромную роль играла эта высота, захваченная десанниками в ночь высадки и закрывшая море от глаз врага! Крутая, темная, с камнями, вросшими в землю,

стоит она над морем. Волны ли с бешеной силой забросили камни на склоны ее, или скатились они с вершины? У этой высоты не было имени.

Над ее вершиной вспыхнул красный флажок, установленный гвардии рядовым Павлом Евдокимовичем Тарасенко.

Я встретился с ним на Керченском полуострове. У Тарасенко, кубанского юноши, худощавое длинное лицо, большие глаза. Он молчалив, потому что очень скромнен. Но нам пришлось провести длинную осеннюю ночь в блиндаже. И мы разговорились. Герой Советского Союза гвардии рядовой Тарасенко рассказал о себе.

Он сражался под Курском, был радистом на батарее. В бою его рацию разбило. Но связь не перестала работать. Радист Тарасенко под ураганным огнем относил сведения на батарею сам.

Немцев отбросили. Но радиста нашли на поле боя с окровавленной ногой.

На комиссии, после лечения в госпитале, ему сказали: — Не годен!

С палкой в руке двадцатидвухлетний Паша Тарасенко показался на улицах родной Кореновской. Вначале он не говорил никому, что вернулся совсем. Он твердо решил — снова быть на фронте.

— Какой же ты солдат, Паша! Хромой-то, — вздыхала мать.

Но не удерживала. Она проводила на фронт мужа. Сын должен быть там же, когда вся Родина в бою.

С большими трудностями, после многих заявлений, Павла зачислили в нестроевую часть. Под Таганрогом он встретил земляков. Ему стало не по себе от того, что он в обозе, а не на переднем крае. Солдаты говорят: на фронте раны сами заживают. Павел уже не хромал. Сутуловатый, коренастый капитан взял его бронебойщиком.

— Но уж как не повезет, так не повезет. Снова ранило, — сказал Павел, виновато улыбаясь, и кинул потухшую пачирску в уголок блиндажа.

Его привезли в госпиталь с осколком в руке. И вновь, как и раньше, у него была одна мысль: скорее на фронт. Что не давало ему покоя?

Немцы. Он ненавидел их все больше и больше.

Гвардии рядовой Павел Тарасенко еще успел участвовать в боях за очищение от врага Тамани. И вот он стоит перед всем батальоном, скромный и бессмертный советский боец. И сердце бьется сильно в волнении.

Павел взял в руку флажок—трепетный лоскут кумача на тонком древке. Волнение было заметно на лицах всех гвардейцев, сосредоточенно глядящих на товарища. Ему доверяли они честь батальона.

В эту минуту у Павла нашлись замечательные слова. Он сказал:

— Я клянусь товарищу Сталину, вам, товарищи гвардейцы, что этот флаг пронесу сквозь любой огонь и выполню свою задачу. Если меня сразит пуля, я прошу того, кто будет ближе ко мне, подхватить этот флаг и водрузить на первой крымской высоте.

Так говорил солдат, который хорошо знал, что такое бой. ...На катере к Тарасенко вернулось обычное спокойствие. Моряки спрашивали:

— Ну, как?

— На земле, конечно, привычней,—отвечали им пехотинцы,—но ничего, переждем. Говорят, тут море неширокое.

Тарасенко одним из первых прыгнул в воду. Он промок насквозь, пока выбрался на берег, и флаг, который он развернул над собой, тоже был мокрым.

Немцев Тарасенко не увидел. Но вокруг была сильная стрельба. Он кинулся к высоте. На миг появилась мысль: „А вдруг вот так и удастся добежать до вершины и установить на ней флаг“.

Но сейчас же сбоку ударил немецкий пулемет. Павел упал, успев услышать чей-то голос:

— Смотрите, Тарасенко впереди! Не отставай!

Тарасенко пополз к немецкому пулемету, бросил в окоп гранату. Кто-то тоже метнул гранату с другой стороны и прыгнул в окоп. Разве разберешь во тьме, кто это был?

Павел понял, что гвардейцы стараются не отставать. Он вновь побежал к вершине высоты. Колючая проволока. Он передохнул и стал перелезать через нее. За проволокой пули, посвистывая, впивались в землю.

Тарасенко вставил древко флага за пояс. Темный лоскут забился над плечом, как бьет птица крыльями, затрепетал на ветру. Павел бежал вперед, стреляя из автомата, ремень которого обнимал его шею.

Вперед, вперед!

Тень немецкого солдата мелькнула у вершины. Павел снова метнул гранату. И вот он—желанный конец высоты, ее крутой окаменевший пик. За ним начинается спуск, падает в темень.

Павлу казалось, что он бежал, а последние метры он уже полз с трудом. Прильнув к земле, он вонзил в нее, в холодную, жесткую,—острое древко флажка.

Утром десантники увидели первый флаг, возвращенный Крыму гвардии рядовым Тарасенко.

Уже взяли поселок Маяк. Во всех частях бойцам говорили: „Деритесь, как Павел Тарасенко“. О его подвиге была выпущена листовка. А он снова с тяжелой раной лежал в медсанбате. Его ранило при отражении немецкой контратаки.

...И вот я встретился с ним. Он опять был в строю.

Пусть мир удивляется воле двадцатидвухлетнего советского бойца, по трудному пути шагавшего к победе. Мы знаем: его вела беззаветная любовь к Родине и ненависть к врагу. Мы твердо верили в бою, что будем жить свободно, отстоим свою Родину. В самые тяжелые минуты эта мысль путеводным огоньком светила нам.

Перед встречей с Тарасенко я видел флаг, установленный им в Крыму. Флаг хранился у начальника политотдела армии генерал-майора Емельянова. На алом лоскуте материи—22 пулевых пробоины.

Не было имени у гордой прибрежной высоты, с которой открывается бескрайний вид на море и крымские дали.

Пусть ее назовут высотой Тарасенко.

Три гвардейца

На причале в Тамани я видел немца, тощего обер-ефрейтора, которого привезли из Крыма. Он с удивлением смотрел на бойцов, рассаживавшихся на мотоботы и катеры. Бойцы были веселы, зная, что идут в Крым.

Бойцы смеялись над немцем. Круглолицый невысокий бронбойщик снял с плеча тяжелое противотанковое ружье, поставил прикладом на землю, отдышался и вытер лоб рукавом шинели.

— Вот это, значит, фрица привезли уже из Крыма?— деловито спросил он.

— Оттуда, оттуда,—ответил ему моряк, который, видно, только что вернулся из рейса, продрог и никак не мог закурить папироску, пока кто-то не подал ему зажженную цыгарку.

Паренек-бронбойщик улыбнулся:

— Он, може, тикал с Тамани в Крым и не втик, а? Кончилась путешествия, фриц?..

Немец, видно, понял, что говорят о нем, и пролопотал:

— Гитлер капут!

Все засмеялись. Шутки бойцов посыпались одна за другой, словно в костер подбросили сухой хворост.

— Видал, он знает, брат, что по-русски говорить, когда надо,—кивнул головой в сторону немца моряк, сплюнул и выругался.

— Дайте вы этому немцу автомат и пустите, попробуйте, он его к животу приставит и будет строчить, пока не издохнет.

Он бы так и сделал, этот тощий обер-ефрейтор. Его руки в русской крови, и он бы снова дрался—от страха за расплату перед людьми, которые рассаживались на катерах, чтобы идти в Крым.

Они ничего не боялись, идя туда, где бой разгорался. Почему?

Они не думали о смерти. Они шли в бой, чтобы вернуться в свои города—целые или разрушенные врагом, отплатив ему за эти разрушения; или в тихий хутор на

Украине, где подсолнухи выглядывают из-за плетня: не идет ли хозяин, а, может быть, нет уже ни плетня, ни дома, и растут подсолнухи над пеплом; или в кубанскую станицу, по которой на закате бредет, пыля, стадо, и коровы мычат, а телята тычутся мордами в калитки; или в Грузию, что так далеко за сверкающими горами-ледниками, в солнечное село, над которым звенит песня, рождаясь в зелени сада, так что кажется, будто сами сады поют.

— Ой, кацо, если б слышал ты нашу песню,—сказал товарищу гвардеец Николай Берия, отчаянный автоматчик с черными бровями, разлетевшимися в стороны. Глаза его восторженно засверкали. Он запел. Никто не понимал его слов, но и никто не мешал ему—мечтателю и весельчаку.

И когда снаряд оборвал песню, всем стало даже жаль.

Гвардейцев вместе с Николаем Берия было пять на склоне небольшой высоты, захваченной у врага. Снаряд разорвался рядом и заставил всех пригнуться, комья земли упали на каски.

— Вот, чорт, бьет без передышки,—сказал один боец.

Берия посмотрел на гранаты. У всех было по одной. У него—две. На берегу Берия стал командиром этих бойцов. Это он разделил гранаты, и никто не сказал ему ни слова, никто не возразил.

Ему верил каждый, как себе. Он заслужил это доверие в бою.

Ночью, высадившись на берег, он один подкрался к немецкому пулемету. Он полз к нему, обдираясь о камни. Сильно стучало сердце, так сильно, что, казалось, его могут услышать враги.

Берия знал, что уничтожит проклятый пулемет, который сдерживал своим огнем продвижение роты. Берия думал: „Знает ли командир, что это он, Николай Берия, метнет сейчас в немецкий пулемет гранату и, может быть, погибнет, но проложит путь роте, знают ли товарищи? Ну, пусть даже и не знают. Как хорошо думать, что он может это сделать и сделает сейчас“. Бросок!

Из траншеи среди камней вырвался сноп огня. Немецкий пулемет смолк. Берия вскочил с автоматом в руках. Он начал простреливать траншею, потом прыгнул в нее и побежал, закричав „ура“. Это был победный клич бойца. Сколько голосов во тьме подхватило его!

Гвардейцы взяли высоту. Здесь, на скатах, обращенных к немцам, к Николаю Берия и присоединились четыре

бойца. Они отразили три попытки немцев вновь овладеть высотой.

...Немцы после короткого артиллерийского налета приближались к высоте четвертый раз.

— Друзья!—крикнул Берия.—Гвардейцы не привыкли ждать. Вперед!

Их было пять. Но они дрались смело и заставили повернуть немцев. У высоты осталось более шестидесяти трупов немецких солдат.

Берия сидел в траншее, чистил автомат, и на лице его играла улыбка. Было ему тепло от песни, звучащей где-то далеко, далеко, в глубине души, словно там приютился цветущий уголок Грузии. И еще оттого, что командир прислал автоматчику благодарность.

Командир знал все—кто уничтожил немецкий пулемет и кто отражал контратаки на высоте. К пятерке храбрецов скоро подошло подкрепление, появились гранаты.

...Через две недели товарищи поздравляли Берия:

— Ну, кацо, с большой наградой тебя! Теперь пиши письмо домой. Герой Советского Союза—не простое дело.

Берия улыбался.

* * *

Невдалеке от высоты, где сражалась эта пятерка десантников, развевался на крутой вершине красный флаг. Это была, кроме высоты Тарасенко, еще одна из нескольких вершин, на которых в первое утро после высадки десанта появились флаги.

Какой гвардеец установил его? На чью счастливую долю выпала эта честь?

Может быть, это был флаг, установленный гвардии младшим лейтенантом Саломахиным, ныне Героем Советского Союза.

...Катер пересекал пролив. Саломахин стоял у борта и думал о том, что, пожалуй, нет операции труднее, чем десант на берег с минными полями у самой воды, колючей проволокой и траншеями, в которых сидят немцы.

Катер уже подходил к полоске земли. Крым! И вдруг снаряд разорвался в носовой части, катер отвалил в сторону. Тогда Саломахин вскочил и крикнул:

— Галагин!

— Здесь, товарищ гвардии младший лейтенант!

— Смотри, не отставай, Галагин.

Саломахин подал команду и прыгнул в воду. Один за другим за ним прыгали бойцы, высоко поднимая над собой винтовки и автоматы.

Взвод комсомольца Саломахина считался лучшим в батальоне. Поэтому ему и поручили водрузить на крымском берегу флаг—небольшой, гордый, ярко-алый. Гвардии младший лейтенант Саломахин доверил честь нести этот флаг лучшему бойцу Галагину и сказал ему:

— На таком месте должен быть установлен наш флаг, Галагин, чтобы отовсюду его увидели. Все бойцы. Чтобы с Большой земли его было видно. Чтобы немцам он глаза жег...

Два дзота на берегу были разбиты гранатами. Скалы, нависшие над водой, остались позади. Вершины высоты, на которой дрался теперь взвод гвардии младшего лейтенанта Саломахина, не было видно во тьме. Но чем круче поднимались скаты, тем радостнее становилось Саломахину: это была такая высота, на которой ему хотелось установить флаг. Эта высота скрывала от глаз врага кромку берега. Если взять высоту, значит, утром к берегу подойдут новые катеры.

Так думал гвардии младший лейтенант Саломахин, прижавшись к шершавой земле, осыпавшейся под руками. Вокруг лейтенанта были его бойцы. Они упрямо ползли вперед. Изредка бойцы вскакивали, перебегали, рассчитывая себе путь очередями автоматов, и снова падали и ползли или молча оставались лежать на скате, навсегда.

Так продолжалось недолго. С трех сторон бойцы Саломахина подобрались к дзоту. „Пора!“ Он вскочил первым, когда наш пулемет горячим свинцом захлестнул амбразуру немецкого дзота, вскочил и крикнул звонко, как бывало всегда в минуту атаки:

— Даешь Крым, гвардейцы! За Сталина, вперед!

Галагин поднялся рядом с командиром и выдернул из-под ватника, намокшего в море, красный флаг, свернутый на древке. Галагин взмахнул флагом.

И в этот миг Галагина сразила немецкая пуля. Он упал, не успев потерять сияния радости, вспыхнувшей на его лице, когда он поднялся с земли и взмахнул флагом, чтобы развернуть его. Саломахин сам подхватил флаг. „Галагин, родной Галагин, нас запомнят, скажут—так они сражались за Крым“.

Он бежал вперед, и весь его взвод, и все, кто был рядом, пошли за ним: неудержимая сила влекла бойцов за

человеком, которого даже не всем было видно в непроглядном мраке.

Саломахин бросил гранату в дзот, перепрыгнул через трупы немцев и установил флаг на самой вершине высоты.

...На рассвете к причалу подошел офицер-гвардеец с окровавленной повязкой, закрывшей глаза. Медицинская сестра усадила его на катер, и, застучав мотором, катер пошел через пролив курсом на Большую землю.

Это был Николай Саломахин.

...Когда же его ранило? Что случилось с ним после того, как он установил на высоте красный флаг?

Гвардии младший лейтенант Саломахин не задержался на той высоте у крымского берега, к которому бойцы тянули уже из воды наши пушки. Саломахин увидел немецкую батарею и во главе взвода атаковал ее. Почти вся прислуга немецких орудий была истреблена. И когда разгоряченный лейтенант поднялся для новой атаки, близкий разрыв вражеской мины оглушил его, мелкие осколки впились в голову, и острая, обжигающая боль свела веки.

Саломахин упал. К нему подбежали бойцы. Но он быстро поднялся и, ничего не видя и шатаясь, сделал несколько шагов вперед. Он громко сказал бойцам:

— Идите! Вы нужны в бою. Я сам... я смогу еще сам... Приказываю—идите.

Он повернулся и, стараясь ступать уверенней, пошел, протянув перед собой руки.

Он мог спокойно идти: в надежных руках оставлял он первый клочок крымской земли, впитавшей кровь бойцов двух десантов.*) В Крыму мы видели много следов первого десанта. Каски, изуродованное оружие и священные холмики могил.

Нет, теперь никто не мог отойти с этой земли хоть на шаг! Об этом ни у кого не было даже мыслей в самые трудные минуты боя.

* *

...Ночью, когда тусклые звезды еще горели над морем, на одной из высот у флага залег с пулеметом гвардеец, младший сержант, комсомолец Махмед Гулиев. Из далекого Азербайджана пришел он на фронт. На Кубани он был дважды ранен, но вернулся в свою роту.

*) Первый десант на Керченский полуостров был высажен в декабре 1941 года.

На рассвете Гулиев отразил три немецких контратаки. Он подпускал немцев так близко, что товарищи волновались. Позже он рассказывал мне:

— Я и сам волновался. Человек не камень. Но патронов, понимаете, было мало. А за нами—море. И даже один патрон потерять было жалко.

Махмед Гулиев уничтожил на подступах к высоте семьдесят немцев. Эта цифра записана в его представлении к званию Героя Советского Союза, которое ему присвоено.

...Когда Гулиев отбил третью контратаку, к нему подполз боец-подносчик.

— Салям!—приветливо улыбнулся ему пулеметчик.— Как живешь?

— Я-то ничего,—ответил боец,—как ты тут живешь?

Им не пришлось поговорить. Они замолчали и стали смотреть туда, откуда послышался и начал нарастать тревожный гул моторов.

Какая дикая злоба охватила немцев, если на эту высоту, на пулемет Гулиева, они бросили шестнадцать бомбардировщиков? Завыли бомбы, и серо-желтые клубы дыма и пыли окутали высоту, повисли над нею.

Едва ветер развеял их, Гулиев увидел: немцы вновь приближались к высоте.

Гулиев спокойно очистил пулемет от земли. Патроны были. Их принес боец-подносчик. А раз были патроны, ничего не вышло у немцев.

Но опять послышался в небе тяжелый гул: приближалась новая партия „Юнкерсов“. И молча смотрели на них два бойца из тесного окопа на высоте...

В Азербайджане, в родном селении Махмеда Гулиева—Грекнас, как во всей стране, с радостью узнали о том, что Красная Армия ступила на землю Крыма. Счастливую весть семье и землякам в Грекнас, который высокими горами поднят к самому небу, принесли газеты: там, в Крыму, сражается Махмед Гулиев, он—Герой Советского Союза. Но еще большую радость доставило письмо из Крыма.

Махмед Гулиев был жив. При втором налете „Юнкерсов“ на высоту его только засыпало землей. Он отряхнулся, устало поднял голову и улыбнулся: красный флаг реял над крымской сопкой.

Непокоренные

Берега у Керчи лежат подковой, точно выгнули их могучие волны, набегающие на набережную, на желтый песок, на скользкие камни холодных скал. С одной стороны бухты—древняя гора Митридат. Белые домики, как гнезда, облепили ее.

И всем, кто в военную осень сорок третьего года был на Таманском берегу, казалось, что пустыми окошками эти домики смотрят на нас, на армию, ждут, когда, когда же она перешагнет пролив, придет, чтобы выгнать из города немцев, въевшихся, как проказа, в его когда-то шумные и веселые улицы.

Немая, мертвая Керчь ждала нас.

Ждал завод, огромные корпуса которого высятся на другой стороне бухты, не покоровшийся немцам керченский металлургический завод. У стен завода выстроились домики рабочего поселка Колонки. Не дымились трубы завода. Не было видно дымков и над крышами опустевших домиков.

Немцы свирепо расправились с жителями Керчи.

Когда высадился десант севернее Керчи, хотелось скорее попасть в нее, услышать рассказ о нечеловеческих муках керчан, освободить их. Мы увидели керчан раньше, чем попали в Керчь.

В катакомбах Аджи-Мушкая, небольшого селения, освобожденного десантниками, встретили мы керчан.

...Я шел по Аджи-Мушкаю с одним майором из штаба гвардейской дивизии. Моросил дождь, заставляя нас то и дело поеживаться. Немцы обстреливали поселок, приходилось прятаться за грудами белых камней, из которых когда то были сложены приветливые домики местных рабочих и рыбаков.

На разбой немцев керчане отвечали сопротивлением. Начали пустеть дома в Керчи и ближайших поселках. Со всеми пожитками, с детьми люди уходили в каменоломни, где десятки лет добывался строительный камень, где время

и труд образовали подземный город с бесконечными коридорами, подобиями комнат и залами с прямыми колоннами, утонувшими в вечном мраке.

Вот и мы под землей, в убежище керчан—русских матерей и жен, детей и стариков, лишенных немцами крова, но не покорившихся. В штольне, где невыносимо тяжелый воздух, сдавленный покатыми сводами, был пропитан запахом жилья, боец-проводник сказал:

— Здесь...

Мы прислушались: что это шумит, шумит, словно толчный камень, словно щебень осыпается со стен и своды грозят вдруг рухнуть с грохотом? Откуда этот бесконечный, однообразный звук?

Боец принес медную гильзу, над которой дрожало пламя. Боец оберегал этот коптящий огонек ладонью, и при желтом свете мы увидели людей, склонившихся над жерновками. Меж круглых каменных плит, скрепленных осями, люди терли кукурузу. Терли кукурузу день и ночь, чтобы один раз в сутки поесть.

Сидит старуха с высохшим лицом и распущенными волосами. Сидит мальчик, одетый в лохмотья, сквозь которые проглядывает голое тело. За ними—еще несколько человек. Вот отчего этот звук—шумят самодельные мельницы.

От первой этой картины сжимается сердце. Какое страдание приняли на себя люди, ушедшие в подземелье! Но проникаешься чувством гордости за них, родных, за эту сморщенную старуху, за мальчика: ничто не заставило их смириться с немецким порядком на земле: ни тьма, ни голод, ни сама смерть.

Нам рассказали, как в одной штольне умер старый мастер керченского завода Константин Данченко. Хрипя, он прошептал перед смертью:

— Все равно, к немцам я не выйду... Плюю я на них, в ихние поганые немецкие хари...

В другой штольне от голода умерла пожилая женщина Авдотья Проценко. Возле ее трупа долго сидели двое детей—Коля и Валя. Мальчику было двенадцать лет, девочке меньше. Они укутывали остывшее тело матери. Валя плакала.

У детей нечего было есть. Дети вышли из штольни. Где они?

Одна женщина, бежавшая в катакомбы из тюрьмы, сказала:

— Немцы схватили их. Обрадовались—добыча. Детей в тюрьму запрятали. Мальчик, Колька, все говорил мне: „Не подумайте, тетенька, что мы к немцам вышли. Мы в соседней штольне бабушку свою хотели найти...“

У каждого из керчан было что рассказать. Они подходили к нам из темноты, многие держали в руках свечи, и глубокое подземелье стало похоже на церковь.

В катакомбах, немых и бездонных, вечно сыро. Но здесь нет воды. Жажда давила грудь людям.

Приложи руку к камню—ладонь станет влажной. Капли влаги бегут по камням, как слезы.

Люди собирали эту влагу и пили.

В одном из коридоров мы увидели невероятное. На большую глубину был вырыт колодец. Не вырыт—выдолблен, выцарапан ножами, штыками в камне. Это сделали жители Керчи и бойцы, укрывшиеся в подземелье Аджи-Мушкая при отступлении из Крыма в сорок втором году.

Немцы не могли справиться с обитателями катакомб. Они взрывали выходы из штолен, пускали в подземелье газы. Но у людей только росла злоба. Вокруг Аджи-Мушкая появились партизанские отряды. Они ниоткуда не пришли. Они рождались здесь, в катакомбах.

Немец—комендант Аджи-Мушкая против воли своей оставил документ, подтверждающий непокорность русских людей врагу. Мы видели табличку, стоящую на выезде из Аджи-Мушкая: „Проход и проезд запрещен. Опасно!“

Это было написано на немецком языке, для немцев. Ненавистью горела под ними русская земля.

Не день, не два, а месяцы мучились керчане в сырых катакомбах Аджи-Мушкая, и освобождение этих людей—великий подвиг Красной Армии. Я видел, как девушка прильнула к груди незнакомого бойца.

— Боже мой, родные,—говорила она, не веря себе,—неужели пришли, спасли!..

Чего ждали они, старики, женщины, дети, предпочитающие умереть под землей, чем жить на земле, где немцы? Тихая женщина сказала нам:

— Армию ждали свою. Ведь знали, что придет. И дня бы не прожили без этой веры..

Знали и бойцы свой путь. Но сейчас, глядя на освобожденных керчан и черпая мужество у русских матерей, они говорили им, что сделали еще мало, что жестоко поплотятся немцы за все, что испытала под их пятой наша земля. Ненависть к врагу росла.

Из катакомб я вынес на руках девочку лет пяти. Худенькие, грязные ножки ее были изранены камнем. Кудряшки отросли и скрыли тонкую шейку. Она зажмурилась, а когда открыла глаза, спросила:

— Дядя, уже снег?

Не было снега. Черная, взбухшая от осенних дождей земля лежала вокруг. Но месяцы жизни под землей не прошли для маленькой беженки даром. Семьдесят дней без света, без солнечного луча. Бесконечная ночь без звезд. Только коптилка, красный огонек, от которого болят глаза.

Я хотел ответить, но меня опередил боец, стоявший на посту у входа в штольню.

— Снег, детка,—сказал он.—Ишь, сколько навалило!.. Нельзя ей долго на свете, товарищ капитан.

Я отдал девочку матери.

Немцы! Какой кровью заплатите вы за эти детские глаза? За тех, кто умер от голода? За тех, кого вы лишили даже света? За все, чему безмолвными свидетелями навеки стали катакомбы Аджи-Мушкая?

Анатолий Пушкаренко

Это был день большой радости. Кончились муки керчан—обитателей Аджи-Мушкайских катакомб.

Одна женщина, говорившая с нами, неожиданно шагнула вперед и сказала с изумлением, перехватившим дыхание:

— Толя, ты никак?

Потом поправилась с трогательной русской застенчивостью:

— Вы ли это, Анатолий Павлович?

— Я, — ответил ей майор, как и все десантники, одетый в ватник. Широким шагом он подошел к женщине. Его энергичное лицо и прямой взгляд выражали большую волю.

Гвардии майор Анатолий Пушкаренко был среди своих земляков. Здесь, в Колонке, он вырос и жил с матерью и сестрой. Здесь, на металлургическом заводе, он работал. Сюда он рвался. И вот он пришел.

Где они, мать и сестра?

Немцы угнали их.

На Кавказе, на Кубани думал майор Пушкаренко о Крыме. Военная судьба вела его к родным местам. Каким-то уголком души верил он все эти долгие месяцы, что застанет мать и сестру живыми. В том, что он скоро вернется в Крым, он не сомневался. Все крепче становилась Красная Армия. Сам Анатолий Пушкаренко сначала командовал взводом, а в Крым привел батальон. Он хорошо воевал. На его груди в день вступления в Крым были ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медаль „За отвагу“.



Этот день... Он запомнит его на всю жизнь.

Запомнит, как катер подошел к родному берегу и как нельзя было разглядеть первый клочок крымской земли за столбами воды. Били немецкие пушки, и снаряды поднимали над морем звенящие брызги.

Здравствуй, родная земля!

Пушкаренко крикнул:

— Десант на берег!

Он первым прыгнул с катера и пошел к берегу, разгребая воду. Итти было все труднее, потому что ватник тяжелел.

С катера усатый черноморский капитан следил за майором. Пули просвистели над палубой, катер начал отваливать.

— Эх!—с досадой на себя сказал усатый капитан.—Вот майор—молодец! Я бы и сам автомат в руки взял и пошел за ним! Теперь держись, немец!

На берегу Пушкаренко с группой своих бойцов атаковал немецкую батарею. И вот он стоял уже у немецких пушек:

— А ну, кто умеет стрелять?

Какой-то пехотинец торопливо подбежал к орудию. Пушкаренко улыбнулся:

— Освоенный трофей!

И теплее, и веселее стало от этих слов, и от улыбки майора, и оттого, что он был рядом.

Пушки развернули. Открыли из них огонь по немцам. Немцы еще удерживали высоту. Но скоро гвардии майор Пушкаренко сообщил, что высота находится в его руках. Командир дивизии велел передать гвардейцам—хорошо дерутся.

Здесь, на берегу, особенно проявились военный талант и настойчивость советских офицеров. Они собирали десантные отряды, отбивали все немецкие контратаки и быстрыми ударами с разных сторон сами теснили врага.

Заводская дорога. Рельсы узкоколейки. Только как они варжавели!... Огромные заводские трубы. Разбитые корпуса. Знакомо все, как знакомо! Вот и белые домики Аджин-Мушкая. Радостная встреча с земляками. И горькая весть: немцы угнали сестру и мать.

Хмуро сдвинулись брови майора. Жесткая складка легла меж ними. И казалось, не сойдет она, пока все ожесточение души не выскажется в бою, пока он не расплатится с немцами за то, что они вырвали у него из души последнюю теплую надежду увидеть мать, семью.

Было тихо. Но Пушкаренко хорошо понимал эту тишину. Он вошел в блиндаж. Тяжело опустился на ящик. Вызвал командиров и приказал проверить связь, чтобы была надежной, а кто подведет—головую ответит. Приказал раздать бойцам—своим гвардейцам—больше гранат. Он ждал немецкой контратаки.

В небе гудели „Хейнкели“.

„Хейнкели“ сбросили бомбы неподалеку. Потом еще и еще. Внезапно загремела, забесновалась немецкая артиллерия. И вот уже сообщили—немцы атакуют правый фланг, роту Колосницына.

Пушкаренко руководил боем спокойно, послал к Колосницыну автоматчиков. Они выбежали из штольни, и вскоре сумерки наполнились дробным стуком автоматных очередей.

Связь с Колосницыным прекратилась. Тогда Пушкаренко выскочил из блиндажа и кинулся туда, где в траншеях вторая рота вела рукопашный бой.

Наконец, бой затих. Гвардии майор, весь в следах траншейной земли, пропахшей пороховою гарью, вернулся в блиндаж. Санинструктор Нила Найчук привела командира роты Колосницына.

Он был в крови и с трудом держался на ногах. Он сказал негромко:

— Комбат, все-таки ничего у них не вышло... Вы во-время подоспели...

Пушкаренко подошел к Колосницыну, взял за плечи, помог сесть.

— Теперь у них, конечно, ничего и не выйдет.

Повернулся:

— Почему не докладывают, исправлена связь или нет?

...Батальон отбил еще одну отчаянную контратаку немцев. Катакомбы казались уютными и теплыми. Усталые бойцы и офицеры спали на полу—в шинелях и ватниках. Но Пушкаренко не лег отдыхать. Он пошел к людям из Керчи и Колонки, которым бой не давал еще возможности вернуться к родным домам. Он пошел к людям, которых не отдал врагу, которых вырвал из немецких лап навсегда.

...Через несколько дней поздним вечером в блиндаже майора запищал зуммер телефона. Майор Пушкаренко взял трубку, а потом положил ее на аппарат осторожно и бережно и встал, переживая волнение. Командир полка поздравил Пушкаренко со званием Героя Советского Союза.

Бойцы знали, что Родина не могла дать их майору другой награды. Но с новым уважением смотрели они на своего командира.

Правду говорят, что храбрые познают счастье. Веселыми дымками занимается жизнь над Керчью, над шумным заводом. Это радостно знать гвардии майору Анатолию Пушкаренко, который видел потом, как горели города Германии.

Мать и сестра Пушкаренко оказались живы. Когда Керчь была освобождена и гвардейцы Пушкаренко ворвались в крымские села Булганак и Катерлез, там, в штольнях новых каменоломен, Пушкаренко встретил мать и сестру.

Затрепетала от радости старая мать. Не сдержала слез и прижалась к груди сына, к его шершавой шивели. Это был он—сын-герой, на родной земле, близ родного дома, в Крыму.

Первые пушки

Когда туман наплывает с моря и клубится, как дым, в его космах исчезают керченские высоты. Их много.

И каждую высоту враг изрыл траншеями.

Если перелезть через колючую проволоку, спрыгнуть в траншею, только что отбитую у врага, и пойти по ее змеевидной щели, то через каждые десять шагов встретишь пулеметную площадку, увидишь много дзотов с пустыми глазницами амбразур.

Нелегко все это было брать. Нелегко было разрушать немецкую оборону, глубоко вросшую в нашу землю цепкими, крючковатыми корнями.

Когда кипел бой, перед этими высотами лежали наши пехотинцы. Они смотрели на траншеи и дзоты, в которых сидели немцы.

Пехотинцы готовились к атаке. И знаете, о чем думали они тогда—бойцы в мокрых шинелях и ватниках, сжимающие винтовки? Они думали:

— Эх, если бы пушечку... Хоть одну, голубушку, чтобы она заговорила вдруг сзади. Она бы согрела, силы прибавила. Повеселело бы сердце. Ее бы подхватили на руки, поволокли по скатам: бей, прокладывая путь через эти гадючьи немецкие норы.

Сколько героизма нужно было проявить артиллеристам, чтобы в первых десантных группах высадиться на крымский берег вместе со своими пушками! Мне рассказывали, как высаживался один расчет.

Балиндер, на котором было установлено орудие, не мог пристать к берегу под ураганным огнем немцев.

— Наше дело—не назад везти!—крикнул командир орудия.—Наше дело—итти вперед. А ну, взяли!

Пушку сбросили в воду.

Волны раздались, швырнув тяжелые брызги на борт и на палубу балиндера, и прокатились над исчезнувшей пушкой. А артиллеристы прыгали вслед за ней и боролись с водой.

Это было в ноябре, в такую ночь, когда даже легкий ветер с моря леденит все тело.

В неистовом порыве работали люди. Они ныряли под волны и, нащупывая руками колеса орудия, цепляли за них лямки. Потом, напрягаясь до отчаяния, тянули орудия к берегу. И вот он, наконец, твердый берег под ногою, с клочьями пены, которую впитывает песок. Вот она — крымская земля. Она еще занята врагом и объята боем...

Пушки сразу вступали в бой, прокладывая путь десанникам, отбивая немецкие контратаки. На рассвете пехотинцы помогали расчетам вытаскивать из воды ящики со снарядами.

— Тащить можно, — говорил весело расторопный пехотинец, — Было бы их там, на дне, побольше... Побольше бы мы их туда набросали.

На берегу он припал к земле: немцы начали огневой налет. Боец закрыл собою снарядный ящик...

Среди первых пушек на Керченском полуострове были орудия ныне Героев Советского Союза старших сержантов Никандра Васильева и Георгия Малидовского. Оба они командовали взводами, у каждого было по два орудия.

В первые же часы боя пушки Васильева разбили пять немецких пулеметов. Десантники взяли еще одну высоту. Усталый командир взвода прилег под шинелью у камня, но немцы не дали ему хоть немного согреться в этот мучительный предрассветный час. Гитлеровцы пошли в контратаку.

Может быть, больше всего удивило немецких солдат то, что их встретили яростным огнем русские пушки, уже установленные на высоте. Беспощадным огнем их встретили советские артиллеристы. Васильев говорил мне, вспоминая этот бой:

— Они не ждали... Для них это непонятно, как артиллеристы могут с пушками высадиться в десантном отряде. Но зато у нас хорошо получилось. Мы сожгли у них ведущий танк и остановили атаку.

Васильев всего не рассказал — рассказали другие: когда немцы подошли близко, он оставил у пушек по два человека, а с остальными бросился навстречу врагу. И он сам в рукопашной схватке уничтожил несколько вражеских солдат.

Атаку немцев отбили, наша пехота пошла вперед. И за ней вслед покатила на руках свои пушки артиллеристы Никандра Васильева. А когда пушки перекатывали через траншеи, в которых в разных позах валялось немало немецких трупов, то мосты делали из балок, разбирая перекрытия разбитых дзотов. И пушки послушно взбирались на эти мосты колесами, оставляя траншеи позади.

Вскоре синева пролива совсем скрылась с глаз за сопками. Через несколько месяцев на одной из дорог наступления, в крымском селе, я встретил старшего сержанта Георгия Малидовского. Он ехал на высоком коне. За ним нетерпеливые шестерки лошадей в упряжках тянули орудия, и они, громяхая, катились по крымскому шоссе. Женщины, старики, дети с радостными лицами стояли у обочин, приветствовали артиллеристов. Какая-то старушка, может быть, мать бойца, держала в руках портрет Сталина и смахивала слезинки уголком платка, и вместе с другими приветственно протягивала руку к старшему сержанту.

...У Георгия Малидовского на фронте погибло два брата. Он говорил, что должен сражаться за них, и так он сражался—настоящий русский артиллерист—твердый, как гранит, поразительно бесстрашный потомок бородинских пушкарей, которые не оставляли пушек и били врага даже тогда, когда он хватался за стволы.

Такой бой выдержал Малидовский на Керченском полуострове с немецкими танками.

Пушки его взвода стояли на небольшой, израненной снарядами высоте. Заботливо окопали расчеты свои орудия—эти маленькие полковые пушки, которые потом с любовью называли „десантниками“. Их надо было беречь.

Может быть, сейчас не найдешь этой высоты среди других. Тогда немецкие танки полезли на нее, потому что немцы хотели смять первые наши пушки, не успевавшие остывать от стрельбы.

Пехоты не было впереди орудий Малидовского.

Немцы сосредоточили на них весь огонь своей артиллерии, снаряды рвали землю. Малидовский приказал:

— Не стрелять!

Бойцы смотрели: почему не стрелять? Ведь танки уже близко. Нет, он упрямо ждал—пусть они подойдут еще ближе.

— Теперь только не робеть,—сказал он наводчикам.— Команды исполняйте спокойно, чтобы наверняка бить!

Танки подошли на двести метров. Малидовский повысил голос:

— Огнь!

Оба орудия заговорили. Загорелось два немецких танка. Но пушки выдали себя, и немецкие снаряды стали еще чаще рваться возле самых орудий. В расчетах ранило бойцов. Малидовский крикнул наводчику Винникову, чтобы тот сам выбирал, в какой танк бить удобнее, и кинулся

ко второй пушке. Винников поджег третий танк, затем сделал пробойну в башне четвертого.

В таком бою некогда говорить. Винников только бросил взгляд в сторону старшего сержанта. И показалось, что глаза его горели весело и команды раздавались звонче: старший сержант одобрял наводчика.

Немецкие танки не прорвались к высоте. В короткую передышку раненых укрыли в ровики, перевязали. Они теперь начали стонать—раны пекли.

А пока шла схватка, бойцы молчали! И все поняли—это потому, что они хотели, чтобы тем, кто остался у пушек, было легче сражаться.

Малидовский распределил боеприпасы. Наводчик Винников спросил:

— Наверно, еще пойдут немцы, товарищ старший сержант?

— Не то, что наверно, а обязательно,—ответил Малидовский.—А ты что говоришь так громко, прямо кричишь?

Винников улыбнулся виновато:

— Это так... Видно, оглушило малость.

— Надо до конца устоять,—сказал Малидовский.

— Так ведь это ясно, товарищ старший сержант,—ответили бойцы. Они знали: с таким командиром устоят.

Мне хочется сказать, что в этом бою победила не только доблесть. Огонь по немецким танкам был убийственно точным. Это—высокое мастерство. У Малидовского сохранился потертый листок с наивными рисунками высоты и курчавых кустиков, и домика, что был впереди, и железно-дорожного полотна. К рисункам протянуты стрелки, мелкие цифры написаны возле них. Это—карточка противотанкового огня, составленная Малидовским. Это—нити смертельной сетки, в которую попались немецкие танки.

Танки пошли еще раз. Но немцы ничего не добились, только два новых факела обагрили сумерки.

...После боя настала необычная тишина.

— Фрицы никак не могут понять,—удивленно сказал Винников,—что зря лезут.

Командир орудия Макагон ответил с укоризной:

— Нашел у кого искать понятия...

К высоте подкатил юркий „Виллис“, перегруженный винниками со снарядами.

— Чей?—удивился Малидовский. Шофер подмигнул:

— Командира дивизии!

Генерал был на этом берегу. Его машина, одна из первых на Керченском полуострове, возила снаряды на батареи прямо с борта катера. Генерал продолжал наступление, не давая закрепляться немцам, которые лихорадочно опоясывали наш плацдарм траншеями и колючей проволокой.

Командир полка подъехал к позициям, пожал руку Малидовскому и сказал, с гордостью глядя в уставшее лицо артиллериста:

— Молодец, Малидовский!

Малидовский прищурил глаза, улыбнулся:

— Как же, товарищ командир полка, немцы хотели нас в море, а мы сами хотим их—туда же.

И вышло так. Пушки Малидовского добивали немцев на мысе Херсонес, с которого были выброшены в Черное море остатки немцев из Крыма.

* * *

...Последние часы на Керченском берегу в дни этой первой своей поездки я провел в блиндаже командира полка гвардии полковника Героя Советского Союза Петра Георгиевича Поветкина. На его столе лежала пачка писем. Он перебирал их, придвинув к себе коптилку, и с грустью говорил:

— Этого нет... Вот письмо Марунченко. Погиб при посадке. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Нет и Михайличенко...

Лунной ночью катер вез меня через пролив к Большой Земле.

На борту закричали:

— Человек в море!

Это был труп. Кверху лицом, раскинув руки, он покачивался на волнах.

Кто он? Может быть, наш безымянный герой, бессмертная слава которого влита сейчас в обелиски памятников на освобожденной крымской земле? Или это немец, получивший то, что должен был получить во имя справедливости. Пришел он незваным из проклятой Германии, пришел убийцей и вором. И качается на волнах его труп, размывает его вода, растащут рыбы, и не останется следа.

Катер скользнул вдоль трупа и резко отвернул. Кто-то крикнул:

— Немец!